



Д. РАЗУМОВСКИЙ

С Григорием Распутиным¹

Когда коннозаводчики удалились из купе в коридор вагона, держа друг друга для внушительности беседы за пуговицу, то сидевший напротив скромный крестьянин, в поддевке и высоких лаковых сапожках, все время хранивший молчание, обратился с замечанием:

— Интересно говорят и о полезном; полезно это крестьянству.

Я согласился с говорившим, который еще раньше обратил на себя внимание тем, что, усаживаясь в Петербурге в купе, долго и внимательно вглядывался в наши лица, несколько раз входил и беспокойно выходил, не раздеваясь, и даже делал попытку перейти в соседнее купе, в котором не было пассажиров. Длинные волосы шатена, без признаков седины, взлохмаченная борода, которую он перебирал рукой с нервными и несколько запущенными пальцами, и глубокие впалые глаза, сильными морщинами около век. <...>

— Да, — добавил я, — но вот крестьянство наше не всегда умеет пользоваться полезным, а русские вообще не могут обойтись без иностранцев — вот что прискорбно, и везде мы оттерты от дела и поставлены на задний план. — Эту обычную и любимую тему моих беседований я поднял вновь, оставшись лицом к лицу с подлинным, как мне показалось, представителем русского народа.

— Беды в этом большой нет, — спокойно возразил мой собеседник. — Разве в этом их сила? Все равно от них ничего не останется. Как-нибудь потом вспомнят, что были, а их уже и не будет. А что иностранцы идут к нам — это хорошо, потому что русский народ хороший — дух в нем выше всего. Самый плохой человек у нас, а лучше духом, чем иностранец. У них машина. Вот они чувствуют это и сами

¹ Печатается с сокращениями по: Дым Отечества. 1913. 20 января. № 4. С. 8.

идут к нам за духом. Одной машиной не проживешь. Кажется, все хорошо кругом, а в самом человеке у них ничего. Вот что главное.

— Положим, иностранцы тянут к нам не за духом; они презирают русских и все русское и наш дух. Являются они, скорее всего, за деньгами, ищут власти, возможности нашего порабощения. Вот на Балканах идет война — небось, никто из немцев, англичан, французов не помогают славянам, а уж где говорить о духе, как не там. Ведь защитить от притеснений угнетенные Турцией народы давно следовало — и это было бы лучшим проявлением человеческого духа.

— А Бог, ты думаешь, не видит это и не знает? А, может быть, славяне не правы, а, может быть, им дано испытание?! Вот ты не знаешь их, а они высокомернее турок и нас ненавидят. Я ездил в Иерусалим, бывал на Старом Афоне — великий грех там от греков, и живут они неправильно, не по-монашески. Но болгары еще хуже. Как они издевались над русскими, когда нас везли; они — ожесточенная нация, оцетинилось у них сердце; турки куда религиознее, вежливее и спокойнее. Вот видишь как, а когда смотришь в газету — выходит по-иному. А я тебе говорю сущую правду.

— Может быть, и так, но обязанность помочь угнетаемым остается пред каждым, кто только мыслит и чувствует по-христиански.

— Да много ли таких? Теперь больше мыслят по-христиански, чем чувствуют. Вот в этом корень зла в мире. Готовятся к войне христиане, проповедуют ее, мучаются сами и всех мучают. Нехорошее дело война, а христиане вместо покорности прямо к ней идут. Положим, ее не будет; у нас, по крайней мере. Нельзя. Но вообще воевать не стоит, лишать жизни друг друга и отнимать блага жизни, нарушать завет Христа и преждевременно убивать собственную душу. Ну что мне, если я тебя разобью, покорю; ведь я должен после этого стеречь тебя и бояться, а ты все равно будешь против меня. Это если от меча. Христовой же любовью я тебя всегда возьму и ничего не боюсь. Пусть забирают друг друга немцы, турки — это их несчастье и ослепление. Они ничего не найдут и только себя скорее прикончат. А мы любовно и тихо, смотря в самого себя, опять выше всех станем.

— Нынешняя культура идет вразрез с учением Христа, и разве можно бороться с ее течением. Вот и вы не ходите же пешком из града в град, а в удобном купе путешествуете; не отдали же второй ризы нищему, а в хорьковой шубе щеголяете. А, пожалуй, вы настоящий верующий, сектант или старообрядец, хотя вас уже отнесло течением от берега.

— Нет, я не сектант. Осуждаю духовенство за его нерадивость и малую красоту в церковном обиходе. Но разве в этом суть? Наша

Православная церковь, как воздушное облако, светит и укрепляет каждого человека. Без нее нет ничего в жизни и все доспехи, все эти шубы ничего не стоят. А что я самоотвержения не имею — так я слаб. Слаб, как человек, но я знаю, что при Церкви каждый может возыметь силу, и я с нею спасусь.

— Все это хорошо; все это слова, но как практически достигнуть того, чтобы Царствие Божие сделалось достоянием земли. Ведь вот когда слушали мы коннозаводчиков, так быстро узнали, до чего можно совершенствовать породу и качества лошадей, сельский хозяин до тонкости изучил, какой знак при каких условиях дает силу и плодovitость, когда он полезен и может быть употреблен в дело... Там все ясно, а вот мы с вами отвергаем смысл и знание нынешней жизни, и войну, и культуру, а что же предлагаем взамен этого: монастырь, отречение от всех благ и самоуничтожение?..

— Нет. Спокойствие и ясную, как небо, душу. В монашестве же нет спокойствия, а есть борьба: то с собственным телом, то с мирским духом. Разве это праведники, что в клобуках, состязаются из-за патриаршего престола?.. Антоний Волынский, Сергей Финляндский!.. Разве этого нужно им искать и указывать? Нужно, чтобы Духом прониклись все и сами указали на человека: вот патриарх. А такого нет, и его не выдумаешь. Подобрать можно по росту, по красноречию, так чтобы подходил к правительству, но чтобы патриарх своим духом покрывал весь народ и чтобы в него и православные, и иноверцы поверили, — для этого нужно родиться и тихо, незаметно вырасти.

— Но тогда, по-вашему, не нужно делать ничего, а только ждать; ни о чем не заботиться; и ни с чем не бороться. Ведь это проповедь толстовца-непротивленца... Вы знаете это учение?

— Слышал, но плохо знаю. Я же не говорю: не противься злему, а говорю: не противься добру. Тягость и суета нашей жизни состоит в том, что мы противимся добру и не хотим его признавать. А ты оставь злое совсем в стороне, пусти его мимо, а укрепись около самого себя и, когда сам окрепнешь, тогда осмотришь и помоги совершенствоваться другим. Не настаивай на совершенстве, но помоги — каждый хочет быть чище, радостнее; вот ты ему и помоги. Не настаивая, вот как Илиодор, — огня в нем много, рвения, а нет света и дуновения, как весной в поле с ароматом цветов, которым веет от истинных подвигов духовных.

— Согласен, что для личного удовлетворения и таких бесед, какую мы сейчас ведем, это приложимо, но ведь и Христос говорил, что никто не ставит свечу в подземелье, но делает так, чтобы она светила миру.

Велик подвиг личный, но тяжелее, и зато величественнее, проповедь для спасения возможно большего количества людей.

— А ты спасай самого себя. И как только ты почувствуешь, что ты в себе, как река в берегах, до краев — вот тогда все покажется ненужным: и слава, и деньги, и карьера. Советую ни на кого не обращать внимания. Никого не наставляй, но никого за ошибки не карай — и думай о спокойствии души. И тогда все вокруг тебя станет спокойно и ясно, и все прояснятся. Меня как поносили, чего только не писали обо мне, и врагов у меня все-таки нет; кто не знает меня, тот враг. Никому ничего худого не делаю, ни на кого не питаю злобы и весь на виду. Вот, как облака, проходит и злоба на меня, я не боюсь ее; поступай так и ты, и другой, и третий. Вот тебе и спасение в самом миру.

— Да, вам легко давать такие советы; быть может, сидите где-нибудь там на горах Урала или в глуши Тобольской губернии, — так эту проповедь не трудно осуществить. Но все наши проповедники плохи тем, что советуют замкнуться в самом себе, остаться в одном положении и оставить всех и вся без внимания. А между тем весь ужас человеческого существования состоит в том, что мы всегда связаны и кровью, и духом с десятками условий, нас сковывающих, и сотнями людей, нас окружающими. И спасаясь в самодовольстве, нельзя ведь не помнить о других. Вот Иоанн Кронштадтский весь горел для блага тысяч и сотен тысяч верующих или искавших веры и не уклонялся от людей.

— То великий светильник и чудотворец. Разве я могу сравняться с ним. Говорю, как у меня на душе, и говорю только тем, кто меня слушает. Скорбно, когда клеветают — сами себя позором обносят. Жалею, что мало кто хочет вникнуть в чужие слова и мысли. Болтают обо мне зря, пишут неизвестно что, и больше худое. Но и помочь им я не могу. Слепые света видеть не могут, и Царствие Божие открывается только тем, кто подходит друг к другу, как дети. Другой заповеди я не имею и не ношу. А чтобы тебе было ясно, кто я, я скажу: я — Распутин.

Я не был удивлен, — внешность говорившего говорила за это. Но склад речей, отрывистых и мистически далеких, спокойствие и бесхитростная, почти детская, улыбка у 50-летнего скромного и несколько застенчивого человека, совершенно непримиримое представление о нем на основании газетных статей и тысячи легенд, распускаемых об этом человеке, которого, не слушая, обвиняют, ни разу не видав, презирают, — сделали то, что я долго думал о нем. Этот человек слишком не сложен и ясен для того, чтобы приписывать

ему игру; он прост и скромен для того, чтобы видеть в нем героя. Он даже не загадка для наших дней, а просто жертва пошлости того жалкого века, когда нет ни героев, ни праведников, а остались одна червоточина, и когда лошадям, их предкам, их настроению и потомству отводится в миллион раз больше внимания, чем человеческой душе, никому уже не нужной, никого не интересующей и превращаемой в машину.

